



Ален-Фурнье

Большой Мольн



Перевод с французского
Мориса Ваксмахера

ФТМ



Ален-Фурнье
Большой Молнь

«ФТМ»

1913

Ален-Фурнье

Большой Мольн / Ален-Фурнье — «ФТМ», 1913

ISBN 978-5-4467-0569-6

Французский писатель Ален-Фурнье получил известность благодаря единственному законченному роману «Большой Мольн», написанному в 1913 году, за год до гибели. Произведение сочетает динамичный сюжет и романтическую интригу с реалистическим изображением французской провинциальной жизни. Верность себе, благородство помыслов и порывов юности, романтическое восприятие бытия были и останутся, без сомнения, спутниками расцветающей жизни. А без умения жертвовать собой во имя исповедуемых тобой идеалов невозможна и подлинная нежность – основа основ взаимоотношений между людьми. Такие принципы не могут не иметь налета сентиментальности, но разве без нее возможна не только в литературе, но и в жизни несчастная любовь, вынужденная разлука с возлюбленным?

ISBN 978-5-4467-0569-6

© Ален-Фурнье, 1913

© ФТМ, 1913

Содержание

Часть первая	6
Глава первая	6
Глава вторая	10
Глава третья	12
Глава четвертая	14
Глава пятая	16
Глава шестая	18
Глава седьмая	21
Глава восьмая	24
Глава девятая	26
Глава десятая	28
Глава одиннадцатая	30
Глава двенадцатая	32
Глава тринадцатая	34
Глава четырнадцатая	36
Конец ознакомительного фрагмента.	37

Ален-Фурнье

Большой Мольн

© Перевод. М. Ваксмахер, наследники, 2019

© Агентство ФТМ, Лтд., 2019

Моей сестре Изабелле

Часть первая

Глава первая Новичок

Он появился в нашем доме в один из воскресных дней ноября 189... года.

Я по-прежнему говорю в «нашем доме», хотя дом уже давно перестал быть нашим. Вот уже почти пятнадцать лет, как мы уехали из тех мест и, наверное, никогда больше туда не вернемся.

Мы жили на территории школы в маленьком городе Сент-Агат. Мой отец, которого я, как и все другие ученики, называл «господин Сэрель», преподавал и в старших классах, где воспитанников готовили к экзаменам на звание учителя, и одновременно в средних. Моя мать занималась с младшими классами.

Длинное красное строение на окраине городка, с пятью застекленными дверьми, все заросшее диким виноградом; огромный двор с площадкой для игр и с прачечной; большие ворота, за которыми начинается улица; с северной стороны решетчатая калитка выходит на дорогу в Ла-Гар, что в трех километрах от Сент-Агата; на юге, позади дома, – пригороды, переходящие в поля, сады и луга... Таковы, в общих чертах, приметы дома, где я прожил самые тревожные и самые мне дорогие дни своей жизни, – дома, откуда брали свое начало и куда возвращались все наши приключения, разбиваясь, как волны об одинокую скалу.

Нашу семью привела сюда простая случайность: то ли поиски работы, то ли распоряжение инспектора или префекта. В один теперь уже очень далекий день, к концу каникул, крестьянская повозка, за которой следовал наш домашний скарб, подвезла нас – мою мать и меня – к ржавой решетчатой калитке. Мальчишки, воровавшие в саду персики, бесшумно юркнули в щели изгороди... Моя мать, которую мы с отцом называли Милли, самая педантичная хозяйка на свете, тотчас прошла в комнаты, заваленные пыльной соломой, и, как это бывало с ней при каждом переезде на новое место, сразу с отчаянием заявила, что просто невысказанно разместить мебель в таком ужасном доме... Она вышла ко мне, чтобы поделиться своим огорчением. Разговаривая со мной, она ласково вытирала носовым платком мое лицо, почерневшее от дорожной пыли. Потом вернулась в дом и стала подсчитывать, сколько дыр нужно заделать, чтобы квартира стала пригодной для жилья... А я остался в этом чужом дворе один, в своей большой соломенной шляпе с лентами, и, ожидая Милли, копошился в песке, под навесом возле колодца.

Во всяком случае, именно так представляется мне теперь наш приезд в Сент-Агат. И едва только пытаюсь я вызвать в памяти этот далекий первый вечер в школьном дворе и это первое ожидание, как передо мной встают другие вечера, тоже наполненные ожиданием; уже я вижу себя возле больших ворот, вижу, как, схватившись обеими руками за решетку, я пристально смотрю на улицу и жду, тревожно жду кого-то. А если я стараюсь представить себе первую ночь, проведенную на новом месте, в моей мансарде, рядом с чердаками на втором этаже, сразу вспоминаются мне другие ночи; я уже не один в этой комнате: по стенам движется большая беспокойная тень моего друга. Школа, поле папаши Мартена с тремя ореховыми деревьями, сад, каждый день, начиная с четырех часов, заполнявшийся женщинами, которые приходили в гости к маме, – этот мирный пейзаж навсегда вошел в мою память каким-то встревоженным, неузнаваемо преображенным благодаря присутствию человека, который взбаламутил все наше отрочество и даже бегством своим не принес нам успокоения.

Однако мы прожили в этих краях уже десять лет, когда появился Мольт.

Мне было пятнадцать лет. Было холодное ноябрьское воскресенье, первый в ту осень день, напомнивший о зиме. Весь день Милли прождала экипаж из Ла-Гара, с которым ей должны были привезти зимнюю шляпу. Утром она пропустила мессу; сидя вместе с другими детьми на хорах, я до самой проповеди тоскливо поглядывал на двери, надеясь, что она вот-вот войдет в своей новой шляпе.

К вечеру мне тоже пришлось идти одному.

– Впрочем, все равно, – сказала она, желая меня утешить и счищая рукой пылинки с моего костюма, – даже если бы ее и доставили, эту шляпу, мне бы, наверно, пришлось все воскресенье ее переделывать.

Нередко так и проходили наши зимние воскресенья. Отец с утра отправлялся на какой-нибудь дальний, окутанный туманом пруд ловить с лодки щук, а мать до самой ночи сидела в полутемной комнате за починкой своих немудреных нарядов. Она запиралась на ключ из боязни, что какая-нибудь знакомая дама, – такая же бедная и такая же гордая, как и она, – застигнет ее за этим занятием. А я, придя от вечерни, сидел в нетопленной столовой, читал и ждал, пока она отопрет дверь, чтобы показать мне, как ей идет эта обновка.

В то воскресенье я немного задержался после вечерни на улице. Возле церкви было оживленно, у входа собрались мальчишки поглазеть на крещение. На площади несколько горожан, облаченных в пожарные куртки, составили ружья в козлы и, зябко постукивая ногами, слушали разглагольствования Бужардона, своего бригадира...

Вдруг колокольный звон оборвался, словно звонарь понял, что ошибся и звонит в неурочный час; Бужардон со своими людьми, разобрав оружие, мелкой рысью потащил пожарный насос; я видел, как они скрылись за поворотом, а за ними молча бежали четверо мальчишек, с хрустом ломая своими толстыми подошвами ветки и сучья на заиндеветой дороге: я решился пуститься вслед.

Жизнь в городке замерла, только из кафе Даниэля глухо доносились, то разгораясь, то затихая, споры любителей выпивки. Прикасаясь на ходу к низкой ограде нашего двора, я добрался до калитки, немного встревоженный своим опозданием.

Калитка была приоткрыта, и я сразу увидел: происходит что-то необычное.

У двери в столовую из пяти застекленных дверей, выходящих во двор, она была ближе всех к калитке – стояла седая женщина и, наклонившись к стеклу, пыталась что-то разглядеть сквозь занавески. Она была маленького роста, в старомодном капоре черного бархата. Ее худое лицо с тонкими чертами выражало крайнее беспокойство, и какое-то тревожное предчувствие при виде ее заставило меня остановиться на первой ступеньке, у самой калитки.

– Куда он мог деваться, боже мой! – проговорила она вполголоса. – Ведь только что был здесь. Наверно, уже весь дом успел обойти. Может быть, убежал...

Каждую фразу она сопровождала еле слышным троекратным постукиванием по стеклу.

Никто не отзывался на стук незнакомки. Милли наверняка получила уже шляпу из Ла-Гара; значит, она сидела сейчас в своей комнате, перед кроватью, усеянной старыми лентами и потертыми перьями, и, забыв обо всем на свете, шила, перешивала, переделывала свой скромный головной убор... И правда, когда посетительница проскользнула вслед за мною в столовую, мама появилась на пороге в новой шляпе, двумя руками придерживая еще не до конца укрепленные ленты, перья и латунные нити... Она улыбнулась мне своими синими глазами, уставшими от работы в сумерках, и воскликнула:

– Взгляни-ка! Я ждала тебя, чтобы показать...

Но, заметив незнакомку, усевшуюся в большое кресло посреди комнаты, она в смущении остановилась, не докончив фразы. Быстрым движением она сняла шляпу и в продолжение всего последующего разговора прижимала ее к груди правой рукой, как большое гнездо.

Женщина в капоре, зажав коленями зонтик и кожаную сумочку, стала объяснять цель своего визита и при этом слегка покачивала головой и прищелкивала языком. Она уж снова

держалась с апломбом, а начав говорить о своем сыне, сразу приняла горделивый и таинственный вид, нас обоих очень заинтриговавший.

Они приехали в почтовой карете из Ла-Ферте-д'Анжийон, что в четырнадцати километрах от Сент-Агата. Вдова – и, как она дала нам понять, весьма богатая – она потеряла младшего из двух своих сыновей, Антуана, который внезапно умер, вернувшись однажды вечером из школы, – умер от того, что искупался вместе с братом в зараженном пруду. Она решила поместить старшего, Огюстена, к нам, на пансион, чтобы он прошел здесь курс старших классов.

И она сейчас же принялась расточать похвалы этому новому ученику, которого к нам привезла. Ее словно подменили; я просто не узнавал седую женщину, ту, что минутой раньше стояла, сторбившись, перед дверьми и всем своим умоляющим и растерянным видом напоминала курицу, потерявшую дикого птенца, которого она вывела вместе с собственными цыплятами.

Она с восторгом рассказывала о своем сыне удивительные вещи. По ее словам, он любил делать ей приятное и мог прошагать босиком по берегу реки целые километры – только для того, чтобы разыскать для нее среди зарослей терновника яйца водяных курочек или диких уток... Он ставил и верши... И один раз ночью нашел в лесу фазана, попавшего в силки...

А я-то, однажды порвав нечаянно куртку, едва решился вернуться домой... Я с удивлением взглянул на Милли.

Но моя мама больше не слушала, она даже сделала даме знак, чтобы та замолчала; осторожно положив на стол свое «гнездо», мама тихонько поднялась, словно желая застигнуть кого-то врасплох...

Действительно, над нами, в чулане, где были свалены почерневшие остатки фейерверка от прошлогоднего праздника Четырнадцатого июля, ходил взад и вперед кто-то чужой, сотрясая потолок уверенными шагами; потом шаги переместились в сторону больших темных чердаков второго этажа и наконец затерялись где-то возле пустующих комнат надзирателей, где теперь сушился липовый цвет и созревали яблоки.

– Я уже слышала этот шум несколько минут тому назад; кто-то ходил по нижним комнатам, – тихо проговорила Милли, – но я подумала, что это ты, Франсуа, вернулся...

Никто не ответил ей. Мы все трое застыли с бьющимся сердцем; и вот отворилась дверь, ведущая с чердака на кухонную лестницу; кто-то прошагал по ступенькам, прошел через кухню – и возник в полумраке на пороге столовой.

– Это ты, Огюстен? – спросила дама.

Перед нами был высокий мальчик лет семнадцати. В сумерках я видел сперва только его крестьянскую войлочную шляпу, сдвинутую на затылок, и черную блузу, стянутую ремнем на ученический манер. Я смог разглядеть, что он улыбается...

Он заметил меня и, прежде чем кто-либо успел потребовать от него объяснений, сказал:

– Пошли во двор!

Какую-то секунду я колебался. Потом, видя, что Милли меня не удерживает, взял фуражку и шагнул к нему. Мы вышли через кухонную дверь и двинулись к площадке, уже погружавшейся в темноту. В неверном вечернем свете я видел его костистое лицо, прямой нос, пушок на верхней губе.

– Посмотри, что я нашел у вас на чердаке, – сказал он. – Ты, должно быть, редко туда заглядываешь.

Он держал в руке маленькое потемневшее деревянное колесо, обвитое фитильным шнуром, – наверно, то было «солнце» или «луна» для праздничного фейерверка.

– Я нашел там еще две такие же штуки, они совсем целые, мы их сейчас с тобою зажжем, – сказал он невозмутимым тоном с видом человека, который уверен в успехе задуманного.

Он сбросил свою шляпу на землю, и я увидел, что он острижен наголо, как крестьянин. Он показал мне две ракеты с бумажными фитилями, видимо, не успевшими догореть до конца.

Воткнув в песок ступицу колеса, он вытащил из кармана коробку спичек – к моему величайшему изумлению, так как нам категорически запрещалось иметь при себе спички. Присев, он осторожно поднес спичку к фитилю. Потом быстро оттащил меня за руку.

Минуту спустя, когда моя мать, закончив с матерью Мольна переговоры о плате за пансион, вышла вместе с ней из дома во двор, над площадкой, шипя, как кузнечные мехи, взвились два снопа красных и белых звезд. И какую-то долю секунды она, наверно, могла видеть, как я стою в волшебном сиянии рядом с высокой фигурой новичка, держа его за руку....

Но она и на этот раз ничего не сказала.

А вечером, во время ужина, за нашим семейным столом сидел молчаливый юноша; он ел, опустив голову и не замечая, что мы все трое с любопытством глядим на него.

Глава вторая

После четырех часов пополудни

До того времени мне почти что не приходилось бегать по улицам вместе с городскими мальчишками. Вплоть до этого самого 189... года меня мучили боли в бедре, и я чувствовал себя несчастным и робким. До сих пор помню, как, жалко прыгая на одной ноге, я пытался догнать быстроногих школьников, которые носились по переулкам, окружавшим наш двор.

К тому же мне не разрешалось уходить из дому. И я вспоминаю, как Милли, обычно гордившаяся моим послушанием, не раз крепкими подзатыльниками загоняла меня домой, увидев, что я ковыляю и подпрыгиваю, увязавшись за ватагой шалопаев.

Прибытие Огюстена Мольна, совпавшее с моим выздоровлением, явилось для меня началом новой жизни.

Прежде, до его приезда, конец уроков в четыре часа пополудни означал для меня наступление долгого одинокого вечера. Отец переносил огонь из классной печки в камин нашей столовой; из выстывшей школы, где перекатывались клубы дыма, уходили последние запоздалые ученики. Еще некоторое время во дворе продолжались беготня, игры; потом спускались сумерки; двое дежурных, закончив уборку класса, забирали из-под навеса свои пальто и капюшоны и, подхватив сумки, быстро уходили, оставляя за собой открытыми большие ворота.

Тогда я шел в комнаты мэрии, забирался в архив, где было полнодохлых мух и хлопающих на ветру объявлений, и, пока не угасали отблески дневного света, читал, усевшись в старую качалку возле выходящего в сад окна.

Когда становилось совсем темно, когда на соседней ферме начинали завывать собаки, а в окне нашей кухоньки загорался свет, я шел наконец домой. Мать принималась готовить ужин. Я поднимался по чердачной лестнице, молча садился на третью ступеньку и, прислонившись лбом к холодным прутьям, смотрел, как она разводит огонь в тесной кухне, озаренной мерцанием одинокой свечи...

Но вот появился человек, оторвавший меня от этих мирных радостей детства, человек, задувший свечу, которая освещала для меня ласковое материнское лицо, склонившееся над вечерней трапезой, человек, погасивший лампу, под которой поздними вечерами, когда отец наглухо закрывал деревянными ставнями стеклянные двери, собиралась наша счастливая семья. И этим человеком оказался Огюстен Мольн – Большой Мольн, как его сразу прозвали у нас в школе.

С его приездом, с первых дней декабря, школа преобразилась: теперь никто не торопился уходить домой после четырех часов пополудни. Несмотря на холод, врывающийся в открытые двери, и на крики дежурных, таскавших ведра с водой для мытья полов, десятка два учеников, живших в городке и в окрестных деревнях, оставались в классе, струдившись вокруг Мольна. И начинались долгие споры, бесконечные разговоры, в которых понемногу – со смешанным чувством тревоги и удовольствия – начинал участвовать и я.

Мольн обычно молчал, но только ради него все болтали наперебой, и то один, то другой из самых словоохотливых учеников, потребовав общего внимания и призвав в свидетели поочередно каждого из приятелей, шумно выражавших свое одобрение, принимался рассказывать длинную историю об очередном озорстве, которую все слушали разинув рты и втихомолку посмеиваясь.

Усевшись на парту, болтая ногами, Мольн размышлял. Иногда он смеялся вместе с друзьями, но совсем тихо, словно приберегая настоящий, громкий смех для какой-то лучшей истории, известной лишь ему одному. Потом, когда сумерки начинали густеть и классные окна не освещали больше кучку подростков, Мольн вдруг поднимался и, расталкивая тесно обступивший его кружок, кричал:

– Хватит! Пошли!

И все срывались с места и шли за ним, и долго еще из темноты дальних улиц до меня доносились их крики...

Теперь иногда отправлялся с ними и я. Вместе с Мольном я доходил до ворот деревенских конюшен и хлевов в тот час, когда хозяйки доят коров... Мы заглядывали в мастерские, и из глубины темной комнаты под стук станка слышался голос ткача:

– А! Студенты пришли!

Обычно к часу ужина мы оказывались недалеко от бульвара, у Дену, тележного мастера, который был также и кузнецом. Его мастерская помещалась в бывшем постоялом дворе с большими двустворчатыми дверьми, всегда открытыми настежь. Еще с улицы слышен был скрежет кузнечных мехов, и в отблесках пылающих углей возникали из темноты то фигуры крестьян, остановивших телегу у ворот, чтобы поболтать с минутку, то школьник вроде нас, который, прислонившись к дверям, молча смотрел, как работает кузнец.

Здесь-то примерно за неделю до рождества все и началось.

Глава третья «Я заходил в лавку корзищика»

Дождь лил целый день и закончился только к вечеру. День был смертельно тосклив. Во время перемен никто не выходил из школы. В классе ежеминутно слышался голос моего отца, г-на Сэреля:

– Да хватит же вам галдеть, сорванцы!

После окончания последней перемены – мы называли ее последней «четвертушкой часа» – г-н Сэрель, несколько минут шагавший с задумчивым видом взад и вперед, остановился, с силой стукнул линейкой по столу, чтобы прекратить смутный гул, обычно поднимающийся к концу занятий, когда класс сучает, и спросил в настроенной тишине:

– Кто поедет завтра вместе с Франсуа в Ла-Гар встречать господина и госпожу Шарпантье?

Это были мои дед и бабка. Дедушка Шарпантье, старый лесничий в отставке, носил серый шерстяной плащ и кроличью шапку, которую называл «своим кепи»... Младшие хорошо его знали. По утрам, умываясь, он, как старый солдат, шумно плескался в ведре с водой, теребя свою бородку. А дети обступали его и, заложив руки за спину, с почтительным любопытством наблюдали за этой процедурой... Были они знакомы и с бабушкой Шарпантье, маленькой старушкой в вязаном крестьянском чепчике, которую Милли не раз приводила в класс малышей.

Каждый год, за несколько дней до рождества, мы отправлялись встречать их в Ла-Гар к поезду, прибывавшему в четыре часа две минуты. Чтобы повидаться с нами, они пересекали весь департамент, нагруженные мешками каштанов и завернутой в салфетки рождественской снедью. И как только оба они, укутанные, улыбающиеся и немного смущенные, переступали порог нашего дома, мы закрывали за ними все двери – и начиналась чудесная неделя радости и забав...

Чтобы доставить стариков с вокзала, вместе со мной нужно было послать еще кого-нибудь, человека положительного, который не опрокинул бы всех в канаву, и к тому же достаточно добродушного, потому что дедушка Шарпантье по любому поводу начинал браниться, а бабушка была немного болтлива.

На вопрос г-на Сэреля дружно отозвался десяток голосов:

– Большой Мольн! Большой Мольн!

Но г-н Сэрель сделал вид, что не слышит. Тогда одни начали кричать:

– Фромантен!

– Жасмен Делюш! – закричали другие.

Самый младший из братьев Руа, тот самый, что любил, взгромоздившись верхом на свинью, прокатиться бешеным галопом по окрестным полям, закричал пронзительным голосом: «Я, я!»

Дютрамбле и Мушбеф только робко подняли руки.

Мне хотелось, чтобы выбор пал на Мольна. Эта небольшая прогулка в повозке, запряженной ослом, обещала быть занимательной. Ему, конечно, тоже хотелось поехать, но, напустив на себя высокомерный вид, он молчал. Все старшие ученики уселись, как и он, на парты, положив ноги на сиденья, – это была наша обычная поза в минуты веселых передышек в занятиях. Коффен, задрав полы своей блузы и обвязавшись ими вокруг пояса, обхватил железный столб, служивший опорой для потолочной балки, и начал взбираться по нему в знак ликования. Но г-н Сэрель сразу охладил наш пыл, сказав:

– Решено! Поедет Мушбеф!

И все молча расселись по своим местам.

В четыре часа пополудни мы стояли вдвоем с Мольном посреди большого холодного двора, изрытого дождевыми потоками. Мы молча смотрели на мокрый город, уже начинавший высыхать под порывами ветра. Вот в плаще с капюшоном, с куском хлеба в руке, вышел из своего дома маленький Коффен; держась поближе к стенам и насвистывая, он добрался до дверей каретника. Мольн открыл ворота, окликнул Коффена, и через минуту мы все трое уже были внутри жаркой, озаренной красным пламенем мастерской, куда время от времени внезапно врывались ледяные струи ветра. Коффен и я, поставив ноги в грязных башмаках на белую стружку, уселись поближе к горну; Мольн, засунув руки в карманы, молча прислонился к входной двери. Порой по улице, пригибая под сильным ветром голову, проходила, возвращаясь из лавки мясника, какая-нибудь жительница поселка, и мы оборачивались, чтобы посмотреть, кто это.

Все молчали. Кузнец и его подручный раздували мехи и ковали железо; по стене прыгали огромные, резко очерченные тени...

Это был один из самых памятных вечеров моего отрочества. Я сидел со смешанным чувством удовольствия и тревоги: я опасался, что мой товарищ лишит меня скромной радости – поездки в Ла-Гар, и в то же время я ждал от него, не смея себе в этом признаться, какого-то необыкновенного поступка, который должен все перевернуть.

Временами спокойная и размеренная работа в кузнице на миг прерывалась. Кузнец несколькими короткими и звучными ударами опускал молот на наковальню. Он разглядывал кусок железа, почти прижимая его к своему кожаному фартуку. Потом распрямлялся и говорил нам, чтобы хоть немного передохнуть:

– Ну, как жизнь, молодежь?

Его помощник, не снимая руки с цепного привода мехов, подпирал бок левым кулаком и смотрел на нас, посмеиваясь.

И снова кузницу заполнял глухой шум работы.

Во время одной из таких передышек мимо приоткрытой двери прошла, борясь с ветром, закутанная в шаль Милли, вся нагруженная небольшими пакетами.

Кузнец спросил:

– Значит, скоро приедет господин Шарпантье?

– Завтра, – ответил я. – И бабушка тоже. Я поеду за ними в повозке к четырехчасовому поезду.

– Уж не в повозке ли Фромантена?

Я быстро ответил:

– Нет, тогда нам домой не вернуться!

И оба они, кузнец и подручный, захохотали. Потом подручный лениво заметил – просто чтобы что-нибудь сказать:

– На кобыле Фромантена можно было бы поехать за ними во Вьерзон. За час были бы там. Туда километров пятнадцать. И вернулись бы домой раньше, чем Мартен успел бы запрячь своего осла.

– Да, – сказал кузнец, – у Фромантена кобыла что надо!..

– К тому же он с удовольствием вам ее одолжит.

На этом разговор закончился. Снова мастерская наполнилась искрами и шумом, и каждый молча думал о своем.

А когда настало время уходить и я, поднявшись, сделал знак Большому Мольну, он не сразу это заметил. Прислонившись к дверям, опустив голову, он, казалось, размышлял над словами кузнеца. Он стоял, погружившись в раздумье, глядя словно сквозь туман на мирно работающих кузнецов, и мне вдруг вспомнилось то место из «Робинзона Крузо», где молодой англичанин незадолго до своего отъезда из дома «заходит в лавку корзищика»... С тех пор этот образ не раз приходил мне на память.

Глава четвертая

Побег

На другой день, к двум часам, освещенный солнцем класс среди ледяных полей становится похожим на корабль посреди океана. Правда, здесь пахнет не рассолом и не машинным маслом, как на рыболовном судне, а селедкой, поджаренной на печке, да паленой шерстью от тех, кто, вернувшись с улицы, сел слишком близко к огню.

Год подходит к концу, и нам раздают тетради для сочинений. Пока г-н Сэрель пишет на доске темы, в классе устанавливается относительная тишина, прерываемая разговорами вполголоса, приглушенными выкриками и фразами, которые начинают лишь для того, чтобы испугать соседа:

– Господин учитель! Такой-то меня...

Господин Сэрель, записывая темы, думает о чем-то своем. Время от времени он обращается лицом к классу и смотрит на нас строгим и одновременно отсутствующим взглядом. Тогда на секунду вся эта скрытая возня полностью прекращается, чтобы тут же возобновиться – сначала тихо-тихо, как жужжанье.

Я один молчу среди всеобщего возбуждения. Я сижу в том углу класса, где разместились ученики помоложе, сижу на краю парты возле окна, и мне достаточно только чуть выпрямиться, чтобы увидеть сад, ручей внизу и за ним – поля.

Иногда я приподнимаюсь на цыпочки и тоскливо гляжу в сторону фермы Бель-Этуаль. Я с самого начала урока заметил, что после большой перемены Мольн не вернулся в школу. Его сосед по парте, должно быть, тоже это заметил. Весь поглощенный своим сочинением, он пока еще ничего никому не сказал. Но как только он поднимет голову, новость сразу обещит весь класс, и уж кто-нибудь, по обыкновению, непременно выкрикнет во весь голос первые слова фразы:

– Господин учитель! А Мольн...

Я знал, что Мольн уехал. Точнее, я подозревал, что он удрал. Должно быть, сразу после завтрака он перескочил через забор и, перейдя у Вьей-Планша ручей, помчался напрямик через поле к Бель-Этуаль. Он попросил дать ему кобылу, чтобы поехать встретить господина и госпожу Шарпантье. Как раз теперь, наверно, там запрягают.

Бель-Этуаль – это большая ферма, расположенная за ручьем на склоне холма; летом ее не видно за вязами и дубами, за зеленью живой изгороди. Ферма стоит на проселочной дороге, соединяющей шоссе на Ла-Гар с окраиной Сент-Агата. Большое здание феодальных времен со всех сторон обнесено высокой стеной с каменными подпорками, основания которых утопают в навозе; в июне дом полностью скрывается в листве, и только с наступлением вечера до школы доносится громыханье телег и крики пастухов. Но сегодня я вижу из окна высокую серую стену скотного двора между голыми деревьями, входную дверь, а дальше, сквозь обломки изгороди, параллельно ручью, полоску побелевшей от изморози дороги, которая ведет к дороге на Ла-Гар.

Ничто еще не шевелится на фоне этого ясного зимнего пейзажа. Пока еще ничего не произошло.

Здесь, в классе, г-н Сэрель заканчивает запись второй темы. Обычно он дает нам три. Если сегодня, как назло, он даст всего две... Тогда он сразу поднимется на кафедру и обнаружит отсутствие Мольна. Он прикажет двоим мальчишкам пойти искать его по всему городу, и, уж конечно, они разыщут его раньше, чем кобыла будет запряжена...

Записав вторую тему, г-н Сэрель на минуту опускает уставшую руку. Потом, к моему великому облегчению, снова подносит ее к доске и продолжает писать, приговаривая:

– Ну, а дальше – совсем легко, просто забава!

...Две черные черточки, которые поднялись над стеной фермы Бель-Этуаль и через минуту снова исчезли, – это, должно быть, оглобли повозки. Теперь я уже окончательно убежден, что там снаряжают Мольна в дорогу. Вот между столбами ворот показались голова и грудь лошади, вот она останавливается, и я догадываюсь: это в повозке укрепляют второе сиденье для пассажиров, за которыми вроде бы отправляется Мольн. Наконец повозка медленно выезжает со двора, исчезает на миг за плетнем и так же медленно катится по отрезку белой дороги, который виднеется сквозь просвет в ограде. И тогда в черной фигуре, которая держит вожжи, небрежно, на крестьянский манер, облокотившись о край повозки, я узнаю своего товарища, Огюстена Мольна.

Еще через минуту все исчезает за изгородью. Двое людей, стоявших у ворот фермы Бель-Этуаль и смотревших, как отъезжает повозка, теперь о чем-то возбужденно спорят. Вот один из них подносит ко рту сложенные рупором ладони и что-то кричит Мольну, потом пробегает несколько шагов по дороге вслед за повозкой. Тем временем Мольн, все так же неторопливо, выезжает на дорогу, ведущую к Ла-Гару; теперь поворот скрывает его от тех, кто стоит возле фермы. И тут поведение Мольна внезапно меняется. Он становится одной ногой на передок, выпрямляется во весь рост, словно римский воин на колеснице, и, схватив вожжи обеими руками, пускает лошадь бешеным галопом; через мгновение он исчезает по ту сторону холма. Окликавший Мольна человек снова бежит по дороге; его собеседник устремляется через поле как будто в нашу сторону.

Через несколько минут, в тот самый миг, когда г-н Сэрель, отойдя от доски, страхивает мел с ладоней, и в тот самый миг, когда сразу три голоса кричат из глубины класса: «Господин учитель! Большой Мольн удрал!» – настежь распахивается дверь, и человек в синей блузе, снимая шляпу, спрашивает с порога:

– Извините, сударь, это вы послали ученика за повозкой, чтобы ехать во Вьерзон встречать ваших родителей? Он вызвал у нас подозрения...

– Да нет, я никого не посылал! – отвечает г-н Сэрель. В классе поднимается гам. Трое учеников, которые сидят ближе всех к двери и которым обычно поручается выгонять камнями коз и свиней, топчущих клумбы на школьном дворе, бросаются к выходу. Их подкованные железом сабо неистово грохочут по каменным плитам первого этажа, потом со двора доносится приглушенный шум шагов – три пары башмаков торопливо мнут песок и, разбежавшись, скользят, как по льду, на повороте, вылетая через раскрытую калитку на дорогу. Весь класс сгрудился у окон, выходящих в сад. Некоторые, чтобы лучше видеть, взобрались на парты.

Но слишком поздно. Большой Мольн бежал.

– Все равно ты поедешь с Мушбефом в Ла-Гар, – говорит мне г-н Сэрель. – Мольн не знает дороги на Вьерзон. Он запутается в перекрестках. Ему не успеть к поезду к трем часам.

Из дверей младшего класса высовывается Милли и спрашивает:

– Скажите же, что случилось?

На улице начинают собираться кучками горожане. Крестьянин все еще стоит на пороге – неподвижно, упрямо, со шляпой в руке, – как человек, требующий правосудия.

Глава пятая

Повозка возвращается

Когда я привез дедушку и бабушку из Ла-Гара и когда после ужина, усевшись перед камином, они принялись с величайшей обстоятельностью рассказывать нам о своем житье-бытье за то время, что мы не виделись с ними, я скоро заметил, что не слушаю их.

Дворовая калитка была совсем рядом с дверьми столовой. Открываясь, она скрипела. Обычно с наступлением темноты, когда мы сумерничали в столовой, я втайне с нетерпением ждал этого скрипа – за ним следовал шум сабо, кто-то шел по двору, потом вытирал у порога ноги, иногда слышался шепот, словно люди тихонько совещались, прежде чем войти. В двери стучали. То был сосед, или одна из учительниц, или еще кто-нибудь, заходивший посидеть с нами в долгие зимние вечера...

Но ведь в этот вечер мне некого было ждать: все, кого я любил, собрались в доме; и все-таки я чутко ловил каждый ночной звук, ожидая, что вот-вот отворится дверь.

Рядом сидел мой старый дед, лохматый, обросший, похожий на гасконского пастуха; неуклюже выставив ноги, зажав коленями палку, он порой наклонялся в сторону, чтобы выбить о башмак свою трубку. Его добрые слезящиеся глаза словно подтверждали рассказ бабушки о том, как они доехали и как поживают куры, и что поделывают соседи, и почему крестьяне до сих пор не внесли арендной платы. Но мои мысли были далеко.

Я представлял себе, как повозка вдруг останавливается перед нашими дверьми, Мольн соскакивает на землю и входит в дом, словно ничего не случилось... Или, может быть, он сначала отведет кобылу на ферму Бель-Этуаль, и сейчас я услышу его шаги на улице, услышу, как отворяется калитка...

Но кругом была тишина. Дедушка пристально смотрел перед собою, и, когда он моргал, веки его долго не поднимались, будто его клонило ко сну. Бабушка, видя, что ее не слушают, в замешательстве несколько раз повторила последнюю фразу.

– Вы беспокоитесь за этого мальчика? – спросила она наконец.

На вокзале я тщетно расспрашивал ее. Когда поезд стоял во Вьерзоне, бабушка не видела никого, кто был бы похож на Большого Мольна. Наверное, мой друг задержался в дороге. Его попытка оказалась напрасной. На обратном пути с вокзала, пока бабушка беседовала с Мушбефом, я переживал свое разочарование. На белой от инея дороге, у самых копыт бежавшего рысцой осла, кружились воробьи. В глубокой тишине морозного дня порой раздавался далекий крик пастушки или голос мальчика, который перекликался с товарищем в сосновой роще. И всякий раз, услышав этот протяжный крик среди пустынных холмов, я вздрагивал, точно это голос Мольна звал меня вдаль...

За этими мыслями прошел вечер, и настало время ложиться. Дедушка уже вошел в красную гостиную, сырую и холодную, потому что она простояла запертой с прошлой зимы. Перед его приездом с кресел сняли кружевные салфетки, постелили на пол ковер и убрали из комнаты все бьющиеся предметы. Дедушка положил на стул палку, поставил под одно из кресел свои толстые башмаки; он только что задул свечу, и все мы стояли в темноте, желая друг другу спокойной ночи и готовые разойтись по своим комнатам, когда шум экипажа заставил всех замолчать.

Казалось, одна за другой медленно ехали две повозки. Кони постепенно замедлили шаг и наконец остановились напротив окна столовой, которое выходило на дорогу, но было наглухо заколочено.

Отец взял лампу и немедля открыл дверь, уже запертую на ключ. Потом, толкнув калитку, стал на край ступеньки и поднял лампу над головой, чтобы лучше разглядеть, что происходит.

И в самом деле, перед домом остановились две повозки; лошадь второй из них была привязана к передней повозке. На землю соскочил человек и остановился в нерешительности...

– Скажите, это мэрия? – спросил он, подходя ближе. – Вы не могли бы мне сказать, где живет господин Фромантен, арендатор из Бель-Этуаль? Я нашел его повозку возле дороги на Сен-Лу-де-Буа; лошадь шла без возницы. При мне есть фонарь, я прочитал на номере имя и адрес. Мне было по пути, и я привел сюда всю упряжку, чтобы не случилось какой беды; но все это здорово меня задержало.

Мы были изумлены. Отец подошел и осветил повозку.

– Возницы и след простыл, – продолжал человек. – Я не нашел даже попоны. Лошадь устала, она немного прихрамывает.

Я тоже подошел поближе и вместе со всеми смотрел на эту заблудившуюся упряжку, которая появилась перед нами, как обломок кораблекрушения, вынесенный на берег морским приливом, – первый и, быть может, последний обломок приключения Мольна.

– Если Фромантен живет далеко, – сказал человек, – я бы оставил его повозку у вас. Я уж и так потерял много времени, и обо мне, наверно, беспокоятся дома.

Отец согласился. Это позволяло нам сейчас же отвести упряжку в Бель-Этуаль, ничего не рассказывая о случившемся. А что говорить людям и что написать матери Мольна, можно будет решить потом... Человек хлестнул свою лошадь; он даже отказался от предложенного ему стакана вина.

Отец поехал с повозкой на ферму, мы молча вернулись в дом, а дедушка в своей комнате снова зажег свечу и окликнул нас:

– Ну что, вернулся ваш путешественник?

Женщины переглянулись.

– Да, конечно. Он был у своей матери. Спи спокойно.

– Ну, вот и хорошо! Я так и думал, – сказал дедушка. И, удовлетворившись ответом, погасил свечу и повернулся на другой бок.

Такое же объяснение мы дали соседям. Что касается матери беглеца, мы решили пока ни о чем ей не писать. Три бесконечно долгих дня ни с кем не делились мы своей тревогой. Я и теперь ясно вижу перед собой лицо моего отца, когда он часов около одиннадцати вернулся с фермы, вижу его заиндеветшие усы, слышу его голос, встревоженный и сердитый, – он тихо спорит о чем-то с Милли...

Глава шестая

Кто-то стучится в окно

Четвертый день был одним из самых холодных в ту зиму. С утра ученики, пришедшие первыми во двор, катались по льду вокруг колодца, пытаясь согреться. Они ждали, когда растопится в школе печка, чтобы кинуться поближе к теплу.

Многие из нас стояли за воротами, поджидая деревенских ребят. Они приходили, еще ослепленные зимним пейзажем, – инеем, замерзшими прудами, перелесками, среди которых скакали зайцы. . . Их блузы сохраняли запах сена, конюшни, и воздух в классе становился тяжелым и душным, когда они теснились вокруг раскаленной докрасна печки. . . В то утро один из них принес в корзинке замерзшую белку, которую нашел на дороге. И я помню, как он старался подвесить ее длинное окоченевшее тельце за когти к столбу на площадке для игр.

Потом начался томительный зимний урок.

Вдруг сильный удар по стеклу заставил нас поднять головы. У дверей, стряхивая иней с блузы, высоко вскинув голову, словно ослепленный каким-то видением, стоял Большой Мольн!

Двое учеников с самой близкой к дверям парты сорвались с мест, чтобы ему открыть; они пошептались о чем-то с Мольном у порога, после чего беглец решил наконец войти в школу.

Волна свежего воздуха, ворвавшаяся с пустынного двора, солома, приставшая к одежде Большого Мольна, и особенно его вид – вид усталого, голодного, но чем-то очарованного путешественника, – все это вызвало в нас странное ощущение радости и любопытства.

Господин Сэрель, что-то нам диктовавший, сошел по двум ступенькам вниз со своей маленькой кафедры, и Мольн шагнул к нему с вызывающим видом. Я вспоминаю, каким красивым показался мне в эту минуту мой старший товарищ, красивым, несмотря на измученное лицо и глаза, покрасневшие, верно, от бессонных ночей под открытым небом.

Он подошел к самой кафедре и сказал твердым голосом, как человек, явившийся с докладом:

– Я вернулся, сударь.

– Вижу, вижу, – ответил г-н Сэрель, с любопытством разглядывая его. – Ступайте на свое место.

Мольн повернулся к нам, чуть сутулясь и улыбаясь с тем насмешливым видом, какой напускают на себя взрослые ученики, когда их наказывают за плохое поведение; взявшись рукой за край парты, он проскользнул на свою скамью.

– Сейчас вы возьмете книгу, которую я вам укажу, – сказал учитель, видя, что все головы повернуты к Мольну. – А ваши товарищи закончат писать диктант.

И класс снова принялся за работу. Время от времени Большой Мольн поворачивался ко мне; потом он смотрел в окна на белый, словно осыпанный ватой, неподвижный сад и на пустынное поле, куда порой садился одинокий ворон. В классе было душно, от раскаленной печки шел жар. Мой товарищ, облокотившись о парту, обхватив руками голову, пытался читать; я раза два видел, как слипаются у него веки, и подумал, что он сейчас заснет.

– Я хотел бы прилечь, господин учитель, – сказал он наконец, неуверенно поднимая руку, – вот уже три ночи, как я не спал.

– Идите, – ответил г-н Сэрель, больше всего желая избежать скандала.

Все головы поднялись над партами, все перья застыли в воздухе; с сожалением смотрели мы, как он уходит, – в измятой на спине блузе, в залепленных грязью башмаках.

Как томительно долго тянулось утро! Перед полуднем мы услышали наверху, в мансарде, шаги путешественника, который собирался сойти вниз. Во время завтрака он сидел перед камином, возле озадаченных стариков, а в заснеженном дворе, скользя словно тени, перед

дверьми столовой, после того как часы пробили двенадцать раз, бегали попеременно старшеклассники и малыши.

От этого завтрака в моей памяти осталась только огромная тишина и чувство огромной неловкости. Все было холодным как лед: не покрытая скатертью клеенка, вино в стаканах, красноватый кафель пола, холод которого мы чувствовали под ногами... Было решено ни о чем не спрашивать беглеца, чтобы не давать ему повода взбунтоваться. А он воспользовался этим перемием и не произносил ни слова.

Наконец, закончив десерт, мы оба смогли выскочить во двор. Школьный двор после полудня, когда снег изрыт десятками сабо... Двор, почерневший от оттепели, когда с навеса бежит капель... Двор, полный возни и пронзительных криков... Мы с Мольном побежали вдоль дома. Уже двое-трое наших приятелей бросили игру и, радостно крича, кинулись к нам, сунув руки в карманы, в развевающихся шарфах, разбрызгивая под ногами грязь. Но мой товарищ устремился в старший класс, я поспешил за ним, и он запер стеклянную дверь как раз в тот миг, когда на нее обрушились наши преследователи. Послышалось резкое дребезжанье сотрясаемых стекол, стук башмаков о порог; от сильного толчка погнулся железный засов, сдерживавший дверные створки, но Мольн, рискуя поранить пальцы о сломанный ключ, уже успел повернуть его в замке.

Обычно такое поведение считалось у нас оскорбительным. Если дело происходило летом, нередко те, кто оставался за дверью, стремглав мчались в сад и влезали в класс через окно раньше, чем спрятавшиеся там успевали его захлопнуть. Но сейчас стоял декабрь, и все окна были заколочены. Еще с минуту мальчишки напирала на дверь, осыпая нас бранью, потом один за другим, опустив головы и поправляя шарфы, начали отходить прочь.

В пустом классе пахло каштанами и кислым вином, двое дежурных переставляли столы. Я подошел к печке и стал греться, ожидая начала урока, а Огюстен Мольн шарил на кафедре и в партах. Скоро он нашел маленький географический атлас и, стоя на помосте, опустив локти на кафедру, зажав голову в ладонях, принялся с увлечением его изучать.

Я уже собирался было подойти к нему; я положил бы руку ему на плечо, и мы вдвоем стали бы вычерчивать по карте его таинственный маршрут, – но вдруг дверь соседнего младшего класса распахнулась от сильного толчка, и в нашу комнату с победным криком влетел Жасмен Делюш, с ним еще один парень из города и трое деревенских. Значит, одно из окон класса для младших оказалось плохо забитым, и им удалось его открыть.

Жасмен Делюш не отличался большим ростом, но был одним из самых взрослых учеников старшего класса. Он очень завидовал Большому Мольну, хотя и прикидывался его другом. До поступления Мольна в школу признанным вожаком в классе считался он, Жасмен. У него было бледное, мало выразительное лицо и напомаженные волосы. Единственный сын вдовы Делюш, содержательницы постоянного двора, он корчил из себя мужчину: с хвастливым видом повторял он все, что слышал от игроков в бильярд и любителей вермута.

При его появлении Мольн поднял голову и, нахмутив брови, крикнул мальчишкам, которые, толкая друг друга, бросились к печке:

– Неужто нельзя хоть на минуту оставить человека в покое?

– Если тебе здесь не нравится, что же ты не остался там, где был? – ответил, не поднимая головы, Жасмен Делюш, чувствуя за собой поддержку товарищей.

Вероятно, Огюстен был в том состоянии крайней усталости, когда гнев охватывает человека внезапно и уже невозможно взять себя в руки. Мольн слегка побледнел.

– Ты! – сказал он, выпрямляясь и закрывая атлас. – Пошел прочь отсюда!

Тот крикнул со злой усмешкой:

– Вот как? Если ты три дня был в бегах, значит ты уж и господином учителем стал?

И, пытаясь вовлечь в ссору остальных, добавил:

– Во всяком случае, не тебе приказывать нам убираться отсюда!

Но Мольн уже бросился на него. Началась потасовка, затрещали по швам рукава рубаш. Из всех учеников, вошедших вместе с Жасменом, в ссору вмешался только один деревенский парень, Мартен.

– А ну-ка, оставь его! – сказал он, раздувая ноздри и тряся головой, как баран.

Отброшенный резким толчком Мольна, Мартен отлетел на середину класса, пошатываясь, раскинув в стороны руки, а Мольн, схватив Делюша одной рукой за ворот, другой же, открыв дверь, попытался вытолкнуть его вон. Жасмен цеплялся за столы и волочил ноги по полу, скрежеща по плитам своими подкованными башмаками; тем временем Мартен, восстановив равновесие, нагнув голову вперед, яростно кинулся на Мольна. Тот отпустил Делюша, чтобы схлестнуться с этим болваном, и, может быть, Огюстену пришлось бы худо, если бы в этот миг не приоткрылась дверь. Появился г-н Сэрель; прежде чем шагнуть в класс, он обернулся в сторону кухни, заканчивая какой-то разговор... Тотчас же битва прекратилась. Ученики сгруппировались у печки, опустив головы, так до конца и не приняв ничью сторону в драке. Мольн сел на свое место; его блуза была распорота и изодрана в плечах. У Жасмена побагровело лицо; в течение тех секунд, которые предшествовали стуку линейки, возвещающему начало урока, он кричал:

– Теперь уж ему и слова не скажи! Тоже мне умник нашелся! Может, он воображает, что никому не известно, где он был!

– Дурак! Мне это и самому неизвестно, – ответил Мольн уже в полной тишине.

Потом, пожав плечами и подперев ладонями голову, он погрузился в чтение.

Глава седьмая

Шелковый жилет

Я уже говорил, что нашей комнатой была большая мансарда, наполовину мансарда, наполовину комната. В других помещениях, примыкавших к ней, имелись окна, а здесь, неизвестно почему, было лишь небольшое слуховое окошко. Осевшая дверь терлась о пол, и ее невозможно было как следует закрыть. По вечерам, когда мы поднимались к себе, защищая ладонью свечу, которую угрожали задуть все гулявшие в просторном доме сквозняки, мы каждый раз пытались закрыть эту дверь – и каждый раз отступали перед непосильной задачей. По ночам мы ощущали вокруг себя тишину трех чердаков – казалось, она проникает и в нашу комнату.

Здесь мы и встретились, Огюстен и я, вечером все того же зимнего дня.

Я мигом скинул с себя всю одежду и бросил ее кучей на стул у изголовья кровати, а мой товарищ, не говоря ни слова, стал раздеваться медленно и аккуратно. Я забрался в свою железную кровать с занавесками, украшенными узором из виноградных листьев, и смотрел на Мольна. Он то садился на свою низенькую кровать, на которой не было никаких занавесок, то вставал и ходил взад и вперед по комнате, продолжая при этом медленно раздеваться. Свеча, которую он поставил на столик, какие плетут цыгане из ивовых прутьев, бросала на стену огромную колеблющуюся тень.

В отличие от меня, он с рассеянным и удрученным видом, но вместе с тем заботливо складывал и развешивал все части своего школьного костюма. Вот он положил на стул тяжелый ремень, вот расправил на спинке стула черную длинную блузу, необычайно грязную и мятую, вот стянул с себя грубошерстную синюю куртку, которую носил под блузой, и, повернувшись ко мне спиной, наклонился, чтобы повесить ее в ногах своей кровати. . . Но когда он выпрямился и опять повернулся ко мне лицом, я увидел, что под курткой вместо короткого жилета с медными пуговицами, полагавшегося нам по форме, на нем надет какой-то чудной шелковый жилет с большим вырезом, застегнутый внизу плотным рядом маленьких перламутровых пуговичек.

Это была вещь причудливая и очаровательная, – такие, должно быть, носили на балах молодые люди, танцевавшие с нашими бабушками в тысяча восемьсот тридцатом году.

Я вспоминаю, как он выглядел в ту минуту: высокорослый деревенский школьник с непокрытой головой (свою фуражку он аккуратно положил на костюм), с таким смелым, юным и уже таким суровым лицом. Он снова принялся ходить из угла в угол, расстегивая таинственное одеяние, которое явно принадлежало не ему. Это было так странно: школьник без куртки, в коротких, не по росту, брюках, в грязных башмаках – и в жилете маркиза!

Прикоснувшись к жилету, он вдруг очнулся от своей задумчивости, оглянулся на меня, и в его глазах мелькнула тревога. Мне стало смешно. Он улыбнулся вместе со мной, и его лицо просветлело. Это придало мне смелости, я тихо спросил его:

– Ну, скажи же мне, что это такое? Где ты его взял?

Но его улыбка тут же погасла. Он провел своей тяжелой рукой по коротко остриженным волосам и внезапно, как человек, который больше не может противиться сильному желанию, снова натянул поверх изящного жабо свою куртку, тщательно застегнул ее на все пуговицы, надел измятую блузу; на мгновение он заколебался, глядя на меня как-то сбоку. . . Наконец он сел на край своей кровати, сбросил башмаки, которые с шумом упали на пол, и, как солдат в походе, одетым растянулся на постели и задул свечу.

Среди ночи я вдруг проснулся. Мольн стоял посреди комнаты в фуражке и что-то искал на вешалке. Вот он накиннул на плечи плащ с пелериной. . . В комнате было темно, в нее не проникало даже то смутное мерцание, которое излучает иногда снег во дворе. Черный ледяной ветер свистел над крышей и в мертвом саду.

Я немного привстал и шепотом окликнул его:

– Мольн! Ты опять уходишь?

Он не ответил. Тогда, совсем рассердившись, я сказал:

– Ну что ж, я пойду с тобой. Ты должен меня взять.

И я спрыгнул на пол.

Он подошел, схватил меня за руку и, силой усаживая на край кровати, сказал:

– Я не могу тебя взять, Франсуа. Если б я знал дорогу, мы бы пошли вместе. Но сначала нужно отыскать ее по карте, а мне это не удастся.

– Значит, ты тоже не можешь идти?

– Да, ты прав, это бесполезно, – сказал он упавшим голосом. – Иди ложись. Обещаю никуда без тебя не уходить.

И он опять стал мерить шагами комнату. Я больше не осмеливался с ним заговорить. Он шагал, останавливался, потом начинал ходить еще быстрее, как человек, который снова и снова перебирает в мозгу воспоминания, сталкивает их друг с другом, сравнивает, подсчитывает; ему уже кажется, что нужная нить надежно схвачена, как вдруг он снова теряет ее и опять начинает свои мучительные поиски...

Так продолжалось не одну ночь; бывало, около часа я просыпался, разбуженный шумом его шагов, и видел, как он все ходит и ходит по комнате и чердакам, словно те моряки, которые, не в силах отвыкнуть от вахтенной службы, просыпаются на своей бретонской ферме в предписанный корабельным уставом час, встают, одеваются и несут всю ночь вахту на суше.

Раза два-три на протяжении января и первой половины февраля я просыпался так среди ночи. И каждый раз Большой Мольн стоял одетый, в своей пелерине, готовый уйти, – и каждый раз уже на пороге той таинственной страны, куда однажды ему удалось проникнуть, он останавливался в нерешительности. В тот самый миг, когда оставалось только отодвинуть засов с двери, ведущей на лестницу, и проскользнуть на улицу через кухонную дверь, открывающуюся так легко, что никто бы не услышал ни звука, в тот самый миг он снова отступал... И потом в течение долгих ночных часов лихорадочно метался по пустынным чердакам, о чем-то размышляя.

Наконец как-то ночью – это было в середине февраля – он сам разбудил меня, тихонько тронув за плечо.

Накануне у нас был хлопотный день. Мольн, который теперь совсем не участвовал в играх с прежними товарищами, всю последнюю перемену просидел за своей партой, поглощенный каким-то таинственным маленьким чертежом, по которому водил пальцем, сверяясь в атласе с картой департамента Шер. Между двором и классом непрерывно сновали мальчишки. Стучали сабо. Ученики гонялись друг за другом между партами, перескакивали через скамейки, прыгали на помост... Все хорошо знали, что, если Мольн занят, лучше к нему не подходить. Но перерыв затягивался, и двое-трое городских, увлекшись игрой, на цыпочках подкрались поближе к Мольну и заглянули через его плечо. Один из них до того осмелел, что толкнул товарищей на Мольна... Тот резко захлопнул атлас, спрятал листок и схватил одного из смельчаков; другим удалось улизнуть.

...Это оказался злюка Жирода, он стал хныкать, пытался брыкаться, и в конце концов Большой Мольн выбросил его вон из класса. Тогда он в ярости завопил:

– У, подлюга! Понятно, почему они все на тебя зубы точат, почему они собираются пойти на тебя войной...

За этим последовал поток ругательств, на которые мы с Мольном отвечали тем же, не зная толком, что означают эти угрозы. Я кричал особенно громко, потому что принял сторону Большого Мольна. Мы словно заключили между собой договор. Он пообещал взять меня с собой и не сказал при этом, как говорили мне все, что я, «пожалуй, не дойду», и этим привязал меня к себе навсегда. Я непрестанно думал о его таинственном путешествии. Я был убежден, что он встретил какую-то девушку. Наверное, она бесконечно красивее всех девушек в

городке, красивее Жанны, которую можно увидеть в монастырском саду, если заглянуть туда в замочную скважину, красивее розовой белокурой Мадлены, дочери булочника, красивее прелестной, но глупенькой Женни, которую ее мать, владелица замка, всегда держит взаперти. И, конечно, о ней, о той девушке, думал он по ночам, как все герои романов. И я решил, что смело заговорю с ним об этом в первую же ночь, как он разбудит меня...

Вечером, после этой новой драки, мы складывали на место садовые инструменты – лопаты и мотыги, служившие для окапывания деревьев. Вдруг на дороге раздались крики. Это была целая ватага подростков и мальчишек во главе с Делюшем, Даниэлем, Жирода и еще кем-то, кто не был нам знаком; они шли гимнастическим шагом, по четыре человека в ряд, как хорошо обученная рота. Заметив нас, они принялись гикать и свистеть. Значит, против нас был весь город, готовилась какая-то воинственная игра, из которой мы были исключены.

Мольн, не говоря ни слова, снял с плеча лопату и кирку и положил их под навес... Но в полночь я почувствовал его прикосновение и сейчас же проснулся.

– Вставай, – сказал он, – мы уходим.

– Теперь ты знаешь дорогу до конца?

– Я знаю большую часть дороги. И мы должны отыскать остальную! – ответил он, стиснув зубы.

– Слушай, Мольн, – сказал я, садясь на постели. – Слушай меня. Нам остается только одно: днем, когда будет совсем светло, мы вдвоем попробуем найти по твоему плану ту часть пути, которой нам недостает.

– Но это очень далеко отсюда.

– Ну и что же! Мы поедем туда в повозке, летом, когда настанут долгие дни.

Он промолчал, и я понял, что он согласен.

– И раз уж мы собираемся вдвоем разыскивать девушку, которую ты любишь, – добавил я, – расскажи мне о ней, Мольн.

Он сел в ногах моей постели. В полутьме я видел его опущенную голову, его скрещенные руки, его колени. Он глубоко вздохнул, как человек, у которого долго было тяжело на сердце и который может наконец доверить свою тайну...

Глава восьмая

Приключение

В ту ночь мой товарищ еще не рассказал мне всего, что произошло с ним тогда на дороге. И даже потом, в скорбные дни, о которых речь еще впереди, когда он наконец решился довериться мне до конца, это долго оставалось великой тайной нашего отрочества. Но теперь, когда все кончено, теперь, когда от всего хорошего, от всего плохого остался лишь прах, теперь я могу рассказать о его странном приключении.

В тот морозный день в половине второго на вьерзонской дороге Мольн нахлестывал свою лошадь изо всех сил: он знал, что опаздывает. Вначале ему было весело: он думал лишь о том, как мы все удивимся, когда к четырем часам он привезет нам дедушку и бабушку Шарпантье. Ведь в те минуты это было, конечно, единственной целью его поездки.

Понемногу его стал пронимать холод, и он закутал ноги попоной, от которой сперва отказывался на ферме Бель-Этуаль, так что ее чуть ли не насильно сунули к нему в повозку.

В два часа он проехал через городок Ла-Мотт. Прежде ему ни разу не приходилось бывать в таких местах в часы школьных занятий, и он с интересом разглядывал пустынные, словно дремлющие улицы. Лишь изредка то здесь, то там поднималась занавеска, и в окне показывалось лицо любопытной кумушки.

При выезде из Ла-Мотта, сразу за зданием школы, дорога разветвлялась, и Мольн заколебался; ему вроде бы помнилось, что к Вьерзону надо свернуть налево. Спросить было не у кого. Он пустил кобылу рысью; дорога была теперь совсем узкой и плохо мощенной. Некоторое время он ехал вдоль леса и наконец повстречал телегу. Сложив ладони рупором, Мольн окликнул возницу и спросил, это ли дорога на Вьерзон. Но кобыла, натягивая поводья, по-прежнему бежала рысью, – человек, очевидно, не расслышал вопроса, он что-то прокричал в ответ с неопределенным жестом, и Мольн продолжал свой путь наугад.

Снова потянулись замерзшие поля, пустые и однообразные; порой лишь сорока, испугавшись повозки, отлетала подальше и садилась на обломанную верхушку вяза. Путник накинул на плечи попону и закутался в нее, как в плащ. Вытянув ноги, прислонившись к борту тележки, он задремал – вероятно, надолго...

...Мольн очнулся от дремоты из-за холода, который теперь пробирал его сквозь попону; он заметил, что местность вокруг изменилась. Не было больше бескрайних горизонтов, не было огромного белого неба, в котором теряется взгляд, вокруг лежали зеленые еще лужайки, обнесенные высокими изгородями. Справа и слева в канавах подо льдом текла вода. Все говорило о близости реки. И дорога, проходившая между высокими плетнями, превратилась теперь в узкую изрытую колею.

Кобыла перешла с рыси на шаг. Мольн стегнул ее кнутом, чтобы заставить бежать быстрее, но она продолжала идти очень медленным шагом, и юноша, опершись руками о передок повозки и посмотрев на лошадь сбоку, заметил, что она хромот на заднюю ногу. Охваченный беспокойством, он тотчас соскочил на землю.

– Нам уже не попасть во Вьерзон к поезду, – сказал он вполголоса.

Даже себе не хотел он признаться в самом тревожном и страшном: в том, что ошибся дорогой и ехал теперь совсем не в сторону Вьерзона.

Мольн долго осматривал ногу животного и не обнаружил никаких следов ранения. Но стоило ему к ней только прикоснуться, как кобыла начинала пугливо вздрагивать и скрести землю тяжелым неуклюжим копытом. Наконец он понял, что в копыто просто попал камень. Мольн привык иметь дело с животными; присев на корточки, он попытался схватить левой рукой правую ногу лошади, чтобы зажать ее между коленями, но ему мешала повозка. Лошадь два раза вырывалась и уходила на несколько метров вперед. Подножка ударила его по голове,

колесом ободрало коленку. Он упрямо продолжал свои попытки и в конце концов одержал над пугливым животным верх, но камешек вошел в копыто очень глубоко, и, чтобы его вынуть, Мольну пришлось пустить в ход свой крестьянский нож.

Когда операция была закончена и, усталый, с покрасневшими глазами, Мольн смог наконец выпрямиться, он с изумлением увидел, что приближается ночь...

Любой другой на месте Мольна немедленно повернул бы назад. Только так можно было бы найти дорогу. Но он рассудил, что Ла-Мотт все равно остался далеко позади. К тому же, пока он спал, кобыла могла свернуть на какой-нибудь поперечный проселок. Наконец, и та дорога, на которой он сейчас находился, должна же была привести его к какому-нибудь селению... Прибавьте ко всему этому, что, встав на подножку и чувствуя, как нетерпеливое животное натягивает вожжи, юноша вдруг ощутил, как растет в нем непреодолимое желание к чему-то прийти, куда-то, вопреки всем препятствиям, добраться!

Он хлестнул кобылу, она сделала скачок в сторону и понеслась быстрой рысью. Темнота густела. Изрытая дорога стала такой узкой, что на ней не могли бы разъехаться две повозки. Иногда в колесо попадала засохшая ветка изгороди и ломалась с сухим треском... Когда стало совсем темно, Мольн вдруг подумал с замиранием сердца о нашей столовой в Сент-Агате, где в этот час все уже, наверное, сели за стол. Потом его охватил гнев, потом, при мысли о своем невольном побеге, он ощутил гордость и глубокую радость...

Глава девятая

Остановка

Вдруг кобыла замедлила бег, будто в темноте на что-то наткнулась; Мольн увидел, как она дважды опускала и опять поднимала голову, потом она резко остановилась, пригнув морду к земле и словно что-то обнюхивая. Под ее ногами слышался плеск воды. Дорогу пересекал ручей. Летом здесь, наверно, был брод. Но в это время года течение было таким сильным, что лед не сумел его сковать; ехать дальше было бы опасно.

Мольн легонько потянул вожжи, отъехал на несколько шагов назад и, не зная, что делать, выпрямился в повозке во весь рост. Тогда-то он и заметил свет между ветвями. Значит, всего каких-нибудь два-три поля отделяли Мольна от дороги...

Он вылез из повозки и повел лошадь назад, приговаривая, чтобы успокоить животное, которое испуганно встряхивало головой:

– Пошли, старушка! Пошли! Теперь уж нам недалеко. Скоро будем на месте.

И, толкнув полуоткрытую калитку в ограде, окружавшей лужайку, которая примыкала к дороге, Мольн провел упряжку за собой. Ноги глубоко уходили в мягкую траву. Повозка бесшумно тряслась на ухабах. Прижавшись головой к голове лошади, Мольн чувствовал ее тепло, ее тяжелое дыхание... Он подвел ее к самому краю лужайки, покрыл ей спину попоной, потом раздвинул ветки изгороди и снова увидел свет. Это был одинокий дом.

Но чтобы до него добраться, Мольну пришлось пересечь еще три поляны, перепрыгнуть через предательский ручеек, в котором он промочил ноги... Наконец, сделав последний прыжок с высокого пригорка, он очутился во дворе деревенского дома. У корыта хрюкала свинья. Услышав шум шагов по мерзлой земле, неистово залаяла собака.

Дверь была открыта, и слабый свет, замеченный Мольном с дороги, оказался светом очага, в котором пылала охапка хвороста. Другого освещения в доме не было. Добродушного вида женщина поднялась со стула и подошла к дверям, не проявляя никакого испуга. В этот миг стенные часы с гирями пробили половину седьмого.

– Извините меня, пожалуйста, – сказал подросток, – кажется, я наступил на ваши хризантемы.

Женщина стояла с миской в руках и смотрела на него.

– И верно, – сказала она, – во дворе такая темень, что недолго и заблудиться.

Они помолчали; стоя в дверях, Мольн оглядывал стены комнаты, оклеенные иллюстрированными журналами, как это бывает на постоянных дворах. На столе лежала мужская шапка.

– Что, хозяйина дома нет? – спросил Мольн, садясь.

– Он сейчас вернется, – ответила женщина, видимо проникаясь к Мольну доверием. – Он пошел за хворостом.

– Да мне он, собственно, и не нужен, – продолжал юноша, придвигая свой стул поближе к огню. – Нас тут несколько охотников в засаде. Я пришел спросить, не уступите ли вы нам немного хлеба.

Большой Мольн знал, что, когда говоришь с крестьянами, да еще на уединенной ферме, не стоит пускаться в откровенность, – тут нужна особая политика, а главное – нельзя показывать, что ты нездешний.

– Хлеба? – переспросила она. – Как раз хлеба-то мы вам дать и не можем. Каждый вторник здесь бывает булочник, но сегодня он почему-то не приехал...

Огюстен, который все еще надеялся, что где-нибудь неподалеку есть деревня, испугался.

– Булочник из какой деревни? – спросил он.

– Ну конечно из Вье-Нансея, откуда же еще! – ответила женщина с удивлением.

– А сколько отсюда до Вье-Нансея? – продолжал с тревогой свои расспросы Мольн.

– Сколько будет по дороге, я вам точно не скажу, а напрямик – три с половиной лье.

И она принялась рассказывать, что там у нее дочка в прислугах живет, и каждое первое воскресенье они ее навещают, и что ее хозяйева...

Но Мольн в полной растерянности прервал ее:

– Значит, Вье-Нансей – это самый близкий отсюда городок?

– Нет, ближе всего – Ланд, до него пять километров. Но там нет ни торговцев, ни булочника. Зато каждый год в день святого Мартина там собирается столько народу...

Мольн никогда и не слышал такого названия – Ланд. Ну и заблудился же он! Это даже начинало его забавлять. Но женщина, которая ополаскивала миску над каменным корытом, с любопытством обернулась и, глядя на него в упор, медленно проговорила:

– Так, значит, вы неместный?

В это время в дверях показался пожилой крестьянин и сбросил на пол вязанку дров. Женщина очень громко, словно перед ней был глухой, объяснила ему просьбу молодого человека.

– Ну что ж! Это не трудно, – сказал он просто. – Но придвиньтесь поближе, сударь. Так вы не согреетесь.

Минуту спустя оба сидели у камина, старик колот дрова и подбрасывал их в огонь, Мольн трудился над миской молока с хлебом, которым угостили его хозяйева. Наш путешественник был счастлив, что после стольких тревог попал в этот скромный дом, ему казалось, что его странное приключение закончилось, он уже мечтал, что когда-нибудь вернется сюда вместе с товарищами, чтобы повидать этих славных людей. Мольн не знал, что то была всего лишь короткая передышка и что через несколько минут он снова двинется в путь.

Он попросил вывести его на дорогу, идущую на Ла-Мотт. И, понемногу приближаясь к правде, рассказал, что отстал со своей повозкой от других охотников и теперь совершенно сбился с пути.

Тогда супруги предложили ему остаться ночевать; он сможет отправиться дальше, когда рассветет; они так долго настаивали, что Мольн в конце концов согласился и вышел, чтобы завести лошадь в конюшню.

– Будьте осторожны, на тропинке много выбоин, – сказал ему крестьянин.

Мольн не осмелился признаться, что сюда он пришел не «по тропинке». Он уже был готов просить хозяина проводить его. Заколебавшись, он на минуту остановился на пороге, и нерешительность его была так велика, что он пошатнулся. Потом вышел в темный двор.

Глава десятая

Овчарня

Чтобы осмотреться получше, он снова взобрался на тот самый пригорок, с которого раньше спрыгнул.

Медленно, с трудом продираясь сквозь заросли, ступая, как и прежде, по лужам, перелезая через ивовые плетни, он направился в глубь луга, где оставил повозку. Но повозки там больше не было... Застыв на месте, чувствуя, как в висках стучит кровь, он жадно ловил ночные звуки, и каждую секунду ему казалось, что он уже слышит, как где-то здесь, совсем рядом, звенят бубенчики на конской сбруе... Нет, ничего не слышно. Он обошел весь луг; плетень был местами раздвинут, местами повален, словно по нему проехало колесо. Должно быть, лошадь отвязалась и ушла.

Снова выбираясь на дорогу, он сделал несколько шагов – и вдруг его ноги запутались в попоне: видимо, она соскользнула со спины лошади на землю; значит, решил он, лошадь ушла в этом направлении. И он пустился бежать.

Ни о чем не думая, ощущая только упрямое и неистовое желание во что бы то ни стало догнать упряжку, с прилившей к лицу кровью, весь во власти этого панического желания, похожего на страх, он бежал... Несколько раз он попадал в рытвины. На поворотах, в полной темноте, он налетал на изгороди и, слишком усталый, чтобы вовремя остановиться, раздирал о колючки ладони, стараясь только защитить лицо выставленными вперед руками. Иногда он останавливался, прислушивался – и снова бежал. Однажды ему показалось, что он слышит шум колес, но это была телега, громыхавшая на дороге где-то слева, очень далеко...

Был момент, когда у Мольна так заныло колено, ушибленное вечером о подножку, что ему пришлось остановиться, – нога почти не сгибалась. И тут он подумал, что, если бы кобыла не бежала галопом, он бы давно ее поймал. К тому же, сказал он себе, ведь не может повозка так просто затеряться, кто-нибудь непременно ее найдет. И Мольн пошел назад, до предела усталый, злой, еле волоча ноги.

Время шло, ему казалось, что он узнает место, откуда начал погоню, и скоро он увидел свет в доме, который искал. От изгороди шла глубоко протоптанная тропинка.

«Об этой самой тропинке и говорил мне старик», – подумал Огюстен.

И он пошел по ней, радуясь, что больше не нужно перелезать через плетни и карабкаться по склонам. Через некоторое время тропинка свернула влево, а свет, казалось, переместился вправо; Мольн дошел до места пересечения нескольких тропинок и, торопясь поскорее добраться до своего скромного ночлега, выбрал, не размышляя, ту из них, которая, казалось, вела прямо к дому. Но не успел он сделать и десяти шагов, как свет исчез; то ли он скрылся за изгородью, то ли крестьяне, устав его ждать, закрыли ставни. Юноша смело пошел через поле, прямо в том направлении, где только что горел свет. Потом, перебравшись еще через одну изгородь, он оказался на новой тропинке...

Так понемногу запутывался след Большого Мольна и рвалась та нить, которая связывала его с покинутыми им людьми.

В отчаянии, выбиваясь из сил, он решил идти по этой тропинке до конца. Шагов через сто он вышел в открытое поле, казавшееся серым в ночной темноте, по нему были разбросаны тени, должно быть кусты можжевельника, в ложбине вырисовывалось темное строение. Мольн подошел поближе. Это был не то загон для скота, не то заброшенная овчарня. Дверь со скрипом подалась. Когда ветер разгонял тучи, сквозь щели в стенах пробивался лунный свет. Пахло плесенью.

Не в силах идти дальше, Мольн растянулся на сырой соломе, опершись на локоть, опустив голову на ладонь. Потом снял ремень и свернулся в комок, натянув на ноги блузу и поджав

колени к животу. Тут ему вспомнилась попона, которую он оставил на дороге, и он почувствовал себя таким несчастным, ощутил такую злость на самого себя, что чуть не заплакал...

Тогда он заставил себя думать о другом. Продрогший до мозга костей, он вспомнил сон, или, скорее, видение, посетившее его однажды в детстве, видение, о котором он никому никогда не рассказывал. Как-то утром он проснулся не в своей комнате, где висели его штанишки и куртки, а в длинном зеленом зале, с обоями, похожими на листву. В зале струился свет, такой нежный, что хотелось попробовать его на вкус. Возле ближайшего окна сидела девушка и, повернувшись к мальчику спиной, что-то шила, словно ожидая, когда он проснется... А у него не было сил соскользнуть с кровати и пройти по этому волшебному залу. Он снова заснул... Но, засыпая, поклялся, что в следующий раз обязательно встанет... Может быть, завтра утром!..

Глава одиннадцатая

Таинственное поместье

Как только рассвело, он снова пустился в путь. Но его мучило распухшее колено, боль была так сильна, что через каждые несколько минут приходилось останавливаться и садиться на землю. Местность, в которой он очутился, была, видимо, самой пустынной частью Солони¹. За все утро он лишь один раз увидел пастушку, которая где-то далеко, у самого горизонта, стерегла свое стадо. Он было окликнул ее, пытался подбежать к ней, но она исчезла, не услышав его крика.

А он шел и шел все в одном направлении – шел удручающе медленно... Ни живой души вокруг, ни человеческого жилья. Не слышно было даже крика куликов в болотных камышах. И над этим пустынным простором сияло ясное и холодное декабрьское солнце.

Было, наверное, уже часа три дня, когда он заметил наконец, что над верхушками елового леса возвышается серая башенка со шпилем.

«Какой-нибудь заброшенный замок, – подумал он, – или пустая голубятня!..»

И, не ускоряя шага, он продолжал свой путь. От опушки леса, между двумя белыми столбами, начиналась аллея; Мольн вошел в нее. Сделав несколько шагов, он остановился, пораженный, полный необъяснимого волнения. Потом опять пошел прежним усталым шагом; от ледяного ветра трескались губы, порой замирало дыхание, но Мольна охватила необыкновенная радость, какой-то удивительный, пьянящий душу покой, уверенность, что он дошел наконец до цели и его ждет теперь только счастье. Лишь в детстве, накануне больших летних праздников, когда с наступлением темноты на улицах городка вырастали елки и окно его комнаты утопало в зеленых ветвях, ощущал он такое же счастливое изнеможение.

«Сколько радости – и все только оттого, что я пришел к этой старой голубятне, полной сов и сквозняков!» – подумал он.

И, сердясь на себя, остановился, размышляя, не лучше ли повернуть назад и постараться добрести до ближайшей деревни. Так он стоял какое-то время в раздумье, опустив голову, и вдруг заметил, что аллея подметена ровными большими кругами, как будто здесь готовились к празднику... Можно было подумать, что он оказался на главной улице родного городка утром в день успения!.. Вряд ли бы он удивился сильнее, если увидел бы за поворотом толпу празднично разодетых людей.

– Что за праздник в подобной глуши? – спросил он себя.

Дойдя до первого поворота, он услышал голоса, они приближались. Он кинулся в сторону, в густые заросли ельника, присел на корточки и затаил дыхание. Это были детские голоса. Группа детей прошла по аллее совсем близко. Голосок – вероятно, маленькой девочки – прозвучал так рассудительно и важно, что Мольн, хотя и не понял, о чем идет речь, не мог удержаться от улыбки.

– Меня беспокоит только один вопрос, – говорила девочка. – Я имею в виду лошадей. Кто может помешать, например Даниэлю, сесть верхом на большого желтого пони?

– Никто не сможет мне помешать! – отвечал насмешливый мальчишеский голос. – Разве нам не разрешили делать все, что захочется?.. Даже расшибиться, если нам это по вкусу...

Голоса удалились, и с Мольном поравнялась новая группа детей.

– Если лед растаял, – сказала девочка, – завтра с утра можно на лодках кататься.

– А разве нам разрешат? – спросила ее подруга.

– Да вы же знаете, что это наш праздник и мы можем делать все, что захотим!

¹ Солонь – область Франции в излучине реки Луары. (Здесь и далее примеч. переводчика.)

- А если Франц вернется сегодня вечером со своей невестой?
– Ну и что ж! Он тоже будет все делать по-нашему!..

«Вероятно, речь идет о свадьбе, – подумал Огюстен. – Но неужели здесь командуют дети?.. Странное поместье!»

Он решил выйти из своего тайника и спросить, где можно поесть и попить. Выпрямившись, он увидел, как удаляется от него вторая группа детей. Это были три девочки в коротких, до колен, свободных платьях. На них были красивые шляпки, завязанные под подбородком. С каждой шляпки ниспадало длинное белое перо. Одна из девочек, полуобернувшись и чуть наклонив голову, слушала свою подругу, которая, подняв палец, что-то объясняла ей с важным видом.

«Они испугаются меня», – подумал Мольн, глядя на свою разорванную крестьянскую блузу и замысловатый пояс воспитанника сент-агатского коллежа.

Боясь, как бы дети на обратном пути не увидели его в аллее, Мольн пошел напрямик через ельник по направлению к «голубятне», не задумываясь о том, что он будет там делать. На опушке дорожку ему преградила невысокая замшелая стена. По ту сторону стены был длинный узкий двор, окаймленный службами и весь заставленный экипажами, как постоялый двор в дни ярмарки. Здесь были повозки всех видов и фасонов: изящные четырехместные коляски с торчащими вверх оглоблями, шарабаны, давно вышедшие из моды кареты с резными карнизами, и даже старинные дорожные берлины с поднятыми зеркальными стеклами.

Спрятавшись за елками, чтобы его не заметили, Мольн рассматривал все это нагромождение повозок; вдруг его взгляд упал на полуоткрытое окно одной из пристроек, как раз на уровне сиденья высокого шарабана. Когда-то окно было заперто на два железных засова, какие можно увидеть в старых усадьбах на закрытых воротах конюшен; но время источило их.

«Я заберусь туда, – решил Мольн, – выплусь на сене, а утром уйду, и мне не придется пугать этих славных девчушек».

Он очутился не на сеновале, а в просторной комнате с низким потолком, очевидно спальне. В полумраке зимнего вечера видно было, что стол, камин и даже кресла завалены большими вазами, дорогой утварью, старинным оружием. В глубине комнаты, за занавесом, должно быть, скрывался альков.

Мольн закрыл окно, – было холодно, к тому же он боялся, как бы его не увидели со двора. Он приподнял занавес и обнаружил за ним большую низкую кровать, на которой валялись в беспорядке старые книги в позолоченных переплетах, лютни с порванными струнами, подсвечники... Сдвинув всю грудку в глубь алькова, он улегся на этом ложе, чтобы немного отдохнуть и поразмыслить по поводу своего странного приключения.

Над поместьем царил глубокая тишина. Только слышно было порой, как завывает холодный декабрьский ветер.

И Мольн, лежа в своем убежище, не мог отделаться от мысли: а что, если, несмотря на все эти странные встречи, несмотря на детские голоса в аллее, несмотря на сборище карет, – что если это просто-напросто старое заброшенное строение, каким оно ему показалось вначале, – просто пустой дом, затерянный в зимнем одиночестве?

Скоро ему почудилось, что ветер доносит откуда-то далекую музыку. Это было похоже на воспоминание, полное прелести и сожалений. Он вспомнил время, когда его мать, еще молодая, садилась вечером в зале за рояль, а он молча стоял за дверью, выходящей в сад, и слушал, слушал до самой ночи...

«Словно кто-то на рояле играет?» – подумал он.

Но этот вопрос остался без ответа. Измученный, Мольн тут же заснул...

Глава двенадцатая

Комната Веллингтона

Когда он проснулся, было темно. Он зябко ворочался на своем ложе, дрожа от холода, комкая и подбирая под себя полы своей блузы. Слабый синевато-зеленый свет окрашивал занавес алькова.

Сев на кровати, он просунул голову между занавесок. Пока он спал, кто-то раскрыл окно и повесил в оконном проеме два зеленых венецианских фонаря.

Но едва Мольн успел взглянуть на них, как на лестнице послышался приглушенный шум шагов и тихие голоса. Мольн быстро спрятался в альков, задев своими подкованными башмаками какую-то бронзовую вещь, и она звякнула, ударившись о стену. В тревоге он на миг затаил дыхание. Шаги приблизились, и в комнату скользнули две тени.

– Не шуми, – послышался голос.

– Да что там! – ответил другой. – Ему уж давно пора бы проснуться!

– Ты обставил его комнату?

– Конечно, как и все другие.

Ветер хлопнул рамой открытого окна.

– Посмотри-ка, – сказал первый, – ты даже не закрыл окно. Ветер уже погасил один фонарь. Нужно его опять зажечь!

– Вот еще! – возразил второй, внезапно охваченный ленью и унынием. – К чему вся эта иллюминация – здесь, в деревенской глуши? Кто увидит наши фонари?

– Как кто? Да ведь до утра приедут новые гости. Им будет приятно еще с дороги, из экипажей, увидеть наши огни!

Мольн услышал, как чиркнула спичка. Тот, кто говорил последним и, казалось, был здесь главным, продолжал – тягуче, чуть нараспев, на манер могильщика из «Гамлета»:

– Повесь зеленые фонари в комнате Веллингтона. И красные тоже повесь... Ведь ты сам все знаешь не хуже меня!

Молчание.

– Веллингтон был, кажется, американец? Так вот, зеленый – это американский цвет. Тебе, бродячему актеру, надо бы знать такие вещи.

– О-ля-ля! – воскликнул «актер». – Ты говоришь, бродячий? Да, я побродил на своем веку! Но я ничего не видел! Много ли увидишь из фургона?

Мольн осторожно выглянул из-за занавесок.

Тот, кто командовал, оказался грузным мужчиной, без шляпы и в широченном пальто. В руке у него был длинный шест, увешанный цветными фонарями, он сидел, заложив ногу за ногу, и спокойно смотрел, как работает его товарищ.

Что касается актера, – более жалкую фигуру было трудно себе представить. Длинный, тощий, дрожащий от холода, с косящими зеленоватыми глазами, с усами, свисающими на щербатый рот, он походил на утопленника, только что вытасченного из воды. Пиджака на нем не было, и зубы его выбивали дробь. Все его слова и движения свидетельствовали о том, что к своей персоне он относился с величайшим пренебрежением.

После минутного раздумья, горестного и в то же время насмешливого, он подошел к своему приятелю и, широко расставив руки, проговорил:

– Знаешь, что я тебе скажу?.. Никак в толк не возьму, зачем понадобилось посылать за такими подонками, как мы с тобой, чтобы прислуживать на этом празднике! Так-то, мой милый!..

Но толстяк не обратил никакого внимания на этот крик души; по-прежнему безмятежно, скрестив ноги, сопя и зевая, он наблюдал за работой товарища, потом встал, повернулся спиной, взвалил свой шест на плечо и вышел, говоря:

– Ну, пошли! Пора одеваться к обеду.

Бродяга последовал за ним; проходя мимо алькова, он стал кланяться, приговаривая с издевкой в голосе:

– Господин Соня! Вам остается лишь проснуться и одеться маркизом – даже в том случае, если вы такой же голодранец, как я. И вы спуститесь вниз, на костюмированный бал, потому что так хотят маленькие кавалеры и маленькие барышни.

И, делая последний реверанс, добавил тоном ярмарочного шута:

– Наш сотоварищ Малуайо, прикомандированный к кухонному ведомству, представит вам Арлекина и вашего покорного слугу, великого Пьеро...

Глава тринадцатая

Странный праздник

Как только они исчезли, Мольн вышел из своего убежища. У него замерзли ноги, окоченели все суставы, но он чувствовал себя отдохнувшим, и боль в колене как будто прошла.

«Спуститься к ужину! – подумал он. – Уж что-то, а это я сделаю. Я буду просто гостем, чьего имени никто не помнит. Впрочем, я здесь и не совсем посторонний: ведь совершенно очевидно, что господин Малуайо со своим приятелем ждали меня...»

После полной темноты алькова он смог довольно ясно разглядеть комнату, освещенную зелеными фонарями.

Бродяга «обставил» ее. На крюках висели плащи. На разбитой мраморной доске массивного туалетного стола было разложено все, при помощи чего можно превратить в щеголя даже юношу, который провел всю ночь в заброшенной овчарне. На камине, рядом с большим подсвечником, лежали спички. Только вот паркет забыли натереть, и под ногами Мольна хрустел песок и щебень. Ему опять показалось, что он попал в дом, давно покинутый обитателями... Направляясь к камину, он споткнулся о груды больших картонок и ящичков; он протянул руку, зажег свечу и, сняв крышки, наклонился, чтобы разглядеть содержимое коробок.

Там были старинные костюмы для молодых людей: сюртуки со стоячими бархатными воротниками, изящные жилеты с глубоким вырезом, бесчисленные белые галстуки и лакированные башмаки, какие носили в начале девятнадцатого века. Сперва Мольн не смел ни к чему притронуться, но потом, вздрагивая от холода, он почистил свое платье, накинул на ученическую блузу один из больших плащей, подняв его плиссированный воротник, заменил свои подбитые железом башмаки щегольскими лакированными туфлями и, не надевая шляпы, тихонько вышел из комнаты.

Не встретив ни души, Мольн спустился вниз по деревянной лестнице и очутился в темном закоулке двора. Ледяное дыхание ночи коснулось его лица и приподняло полу плаща.

Он сделал несколько шагов и при смутном свете, струившемся с неба, смог разглядеть очертания окружавших его предметов. Это был маленький двор, образованный служебными постройками. Все здесь казалось древним и ветхим. Внизу лестниц зияли дыры – дверей давно уже не было, оконные рамы сгнили, и в стенах чернели провалы. Однако все эти здания выглядели таинственно и в то же время празднично. В низких комнатах трепетали яркие отсветы: должно быть, на окнах, выходящих в сторону деревни, тоже повесили зажженные фонари. Двор был подметен, сорная трава выполота. И наконец, прислушавшись, Мольн уловил неясное пение, отдаленные детские и девичьи голоса, они доносились со стороны строений, смутно темневших вдали, – там, где ветер раскачивал ветви перед розовыми, зелеными и синими пятнами окон.

Так он стоял посреди двора, в длинном плаще, напрягая слух, чуть наклонившись вперед, похожий на охотника, выслеживающего добычу; как вдруг из соседнего здания, которое казалось необитаемым, вышел удивительный юный человечек.

На нем был сильно выгнутый цилиндр, блестящий в темноте, как серебряный, камзол, воротник которого упирался в затылок, открытый жилет, панталоны на штрипках... Этот франт, на вид лет пятнадцати, шел на цыпочках, словно резинки панталон приподнимали его над землей, и при этом передвигался с поразительной скоростью. Не останавливаясь, на ходу, он машинально приветствовал Мольна низким поклоном и растворился в темноте, в той стороне, где было центральное здание – ферма, замок или аббатство, чья башенка еще с полудня указывала школьнику путь.

После недолгого колебания наш герой пошел следом за любопытной фигуркой. Они пересекли большой зеленый двор, прошли сквозь густые ряды деревьев, обогнули огороженный частоколом рыбный садок, миновали колодец и оказались наконец у входа в главное здание.

Тяжелая деревянная дверь, закругленная сверху и обитая гвоздями, как дверь в доме сельского кюре, была полуоткрыта. Щеголь проскользнул в нее. Мольн последовал за ним и, не успев пройти по коридору нескольких шагов, еще никого не видя, окунулся в атмосферу смеха, песен, возгласов и веселой возни.

В глубине коридор пересекался другим, поперечным. Мольн остановился в нерешительности, не зная, идти ли ему дальше или открыть одну из дверей, за которыми слышался шум голосов, как вдруг навстречу ему выбежали, догоняя друг друга, две девочки. Неслышно ступая мягкими туфлями, Мольн побежал за ними. Двери распахнулись, под старинными шляпками с лентами мелькнули два юных лица, раздумывавшихся от беготни и вечерней прохлады, – и все разом исчезло во внезапной вспышке света.

С минуту девочки, играя, кружились на месте; их широкие легкие юбки вздулись, приоткрыв кружева забавных длинных панталон; потом, завершив пируэт, они прыгнули в комнату и снова захлопнули дверь.

Ослепленный, Мольн стоял пошатываясь в черноте коридора. Теперь ему не хотелось, чтобы его обнаружили. У него такой нерешительный и неловкий вид, еще примут за вора. И он уже повернулся к выходу, но в это время в глубине дома снова слышались шаги и детские голоса. Два маленьких мальчика, разговаривая, приближались к нему.

– Что, скоро ли ужин? – спросил их Мольн с самым независимым видом.

– Пойдем с нами, – ответил тот, что казался постарше, – мы тебя проводим.

И с той доверчивостью, с той потребностью в дружбе, которая свойственна детям в канун веселого праздника, каждый из них взял Мольна за руку. Судя по всему, это были крестьянские дети. Их нарядили как можно лучше: из-под коротких штанишек, чуть пониже колен, видны были толстые шерстяные чулки и башмаки на деревянной подошве, на каждом был камзольчик синего бархата, того же цвета картуз и белый, повязанный бантом, галстук.

– А ты ее знаешь? – спросил один из мальчиков.

– Я-то? – сказал малыш с круглой головой и наивными глазами. – Мама сказала, что она в черном платье с белым воротничком и похожа на красивого попугая.

– О ком это вы? – спросил Мольн.

– О невесте, конечно, за которой отправился Франц...

Мольн не успел ничего сказать – все трое уже стояли в дверях большого зала, где ярко пылал камин. Положенные на козлы доски заменяли столы, на них были постланы белоснежные скатерти, и множество самых разных людей восседало за торжественной трапезой.

Глава четырнадцатая Странный праздник (Продолжение)

Этот банкет в большом зале с низким потолком напоминал церемонию угощения родственников, приехавших издалека на деревенскую свадьбу.

Оба мальчика отпустили руки Мольна и кинулись в смежную комнату, откуда слышались детские голоса и дробный стук ложек о тарелки. Смело, без всякого смущения, Мольн перешагнул через скамейку и сел за стол рядом с двумя старыми крестьянками. Тотчас же с волчьим аппетитом набросился он на еду; прошло несколько минут, прежде чем он смог наконец поднять голову от тарелки, чтобы осмотреться и послушать, о чем говорят за столом.

Впрочем, гости были неразговорчивы. Казалось, все эти люди едва знакомы друг с другом. Должно быть, одни приехали сюда из глухих деревень, другие – из дальних городов. То тут, то там за столом виднелись старики с бакенбардами и другие старики, гладко выбритые, – может быть, они были когда-то моряками. Рядом с ним обедали их ровесники, очень похожие на них: те же обветренные лица, те же живые глаза под косматыми бровями, те же галстуки, узкие, как шнурки для башмаков... Но с первого взгляда было видно, что за всю свою жизнь они не плавали дальше границ своего кантона, а если все же качало и трепало их многие тысячи раз под ветром и дождями, – это происходило во время того тяжкого, хотя и не опасного для жизни путешествия, когда ведешь борозду за бороздой и, дойдя до конца поля, поворачиваешь плуг назад... Женщин за столом почти не было – лишь несколько старых крестьянок в гофрированных чепцах, с круглыми, похожими на печеные яблоки морщинистыми лицами...

Среди гостей не было ни одного человека, с которым бы Мольн не почувствовал себя просто и уверенно. Позднее он так объяснял это впечатление: когда совершишь, говорил он, какую-нибудь тяжелую, непростительную ошибку и тебе станет горько, порою подумаешь: «А ведь на свете есть люди, которые меня бы простили». И представишь себе стариков, дедушку с бабушкой, исполненных снисходительности, заранее убежденных в том, что все, что ты делаешь, – хорошо. Вот такие славные люди и собрались сейчас в этом зале. Что касается остальных гостей, это были подростки и дети...

Рядом с Мольном беседовали две старые женщины.

– Жених с невестой приедут в лучшем случае только завтра, не раньше трех часов, – сказала старшая из них смешным визгливым голосом, который она тщетно пыталась смягчить.

– Замолчи, ты меня просто бесишь, – спокойно ответила вторая; она была в вязаном чепце, надвинутом на лоб.

– Давай подсчитаем! – невозмутимо возразила первая. – Полтора часа железной дорогой от Буржа до Вьерзона да семь лье в карете из Вьерзона сюда...

Спор продолжался. Мольн старался не упустить ни слова. Благодаря этой мирной перепалке ситуация немного прояснилась: Франц де Гале, сын хозяев замка, который был студентом, или моряком, или, может быть, гардемаринном, – этого никто не знал точно, – отправился в Бурж за девушкой, на которой собирался жениться. Странная вещь: все в поместье делалось так, как хотел этот молодец, должно быть очень юный и очень взбалмошный. Он потребовал, чтобы дом, куда он должен привести свою невесту, походил на праздничный дворец. И для того, чтобы отпраздновать приезд девушки в замок, он сам пригласил всех этих детей и добродушных стариков. Вот и все, что удалось узнать Мольну из спора двух женщин. Остальное было загадкой, так как спорщицы без конца возвращались к вопросу о приезде молодых. Одна из них считала, что они прибудут завтра утром. Другая – что после полудня.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.